

АЛЕНА НЕСМЕЯНОВА

ВНУТРИ НИКОГО



Вы встречали человека, который не помнит
своего имени? Он не помнит своей семьи. Он не
помнит, как оказался в этой комнате. Но
однажды он заговорит. И тогда всё изменится.



НОВОЧЕРКАССК, 2026

Алена Несмеянова

Внутри никого

<https://litres.ru/74059001>

SelfPub; 2026

Аннотация

Имени нет. Прошлого нет. Будущего — тоже. Только комнатёнка в общежитии, конвейер на промзоне и карандаш, который крошится в пальцах. Когда-то был человек. Теперь — лишь тёплая, ещё дышащая мебель.

Три года. Три года человек прожил, не зная себя. Всё это продолжалось до той поры, пока один человек не протянул ему кусок хлеба и не сказал: «Ты — человек».

Можно ли вспомнить, кто ты, если даже имя стёрлось, а прошлое похоронено так глубоко, что кажется, его никогда и не было?

Содержание

ГЛАВА 1. КОНЕЦ	4
ГЛАВА 2. ПОНЕДЕЛЬНИК	15
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Внутри никого

ГЛАВА 1. КОНЕЦ

На узкой пружинной кровати лежит фигура. Старый, вытянутый свитер натянут до самого носа, голова почти полностью скрыта под одеялом — оно когда-то было синим, но выцвело до серого, пропахло потом и сыростью так, что этот запах уже не вывести даже кипячением. Рыжие тараканы уверенно переползают по лицу, шевелят усами у губ, спускаются по щеке к шее, к воротнику свитера. Человек не шевелит даже пальцем, чтобы смахнуть их. Они чувствуют себя здесь полноправными хозяевами — эти насекомые знают каждую трещину в стенах, каждый стык между плинтусами, каждый угол, куда не добирается веник. Человек для них — лишь тёплая, ещё дышащая мебель. Часть интерьера, которая не представляет опасности. Личностью назвать это сложно, слишком сложно. Скорее — то, что от неё осталось. Форма, в которой когда-то было содержание, но оно куда-то ушло, испарилось, оставив после себя только оболочку. Тепло, которое ещё помнит, как дышать, как качать кровь, как переваривать пищу. Но забыло, зачем всё это нужно. Для чего оно вообще просыпается по утрам. Почему не останавливается.

За невымытым стеклом — а его никто не мыл, наверное, с прошлой зимы, — хлопает грязью бесконечный ноябрь. В этом городе осень никогда не бывает красивой. Она не золотит листья, не дарит последнее тепло, не пахнет яблоками и дымом костров. Она сразу оборачивается слякотью, налипшей на дырявый асфальт, серым месивом из подтаявшего первого снега, автомобильной копоти, которая оседает на всех поверхностях, и гнилой листвы, которую никто не убирает. Её просто затапывают в грязь, и она гниёт там до весны, источая тяжёлый, сладковатый запах разложения. Снаружи быстро сгущаются грязные сумерки — день в этом городе не кончается, а просто гаснет, как коптящая лампа, у которой кончился керосин. Город зажигает редкие фонари. Их тусклый, больной свет вырывает из темноты обшарпанные заборы промзоны, ржавые ворота, треснувший асфальт — единственное место, которое здесь ещё кормит людей. Разбитые бордюры, уродливые стены панельных многоэтажек с осыпающейся краской, которая отслаивается целыми пластами и ложится на землю, смешиваясь с грязью. Внизу, на проспекте, плотные потоки ржавых машин, которые, кажется, не глушат моторы никогда, поднимают в воздух смог и мелкую пыль, смешанную с реагентами и выхлопными газами. Дышать здесь, на улице, тяжело — воздух оседает в лёгких липким, горьким осадком, как будто впитываешь не кислород, а само выхлопное топливо. Внутри — ещё тяжелее. Потому что там, внутри, нет даже иллюзии, что это можно изменить.

Пятничный вечер в общежитии всегда наступает шумно, как будто люди специально ждут этого момента всю неделю, чтобы выплеснуть то, что копилось. По коридору третьего этажа, шлёпая старыми резиновыми тапками, которые когда-то были белыми, а теперь стали грязно-серыми, кто-то тащит к умывальникам тяжёлый таз с мокрым бельём. Вода гулко плещет в такт шагам, ударяясь о стенки оцинкованного таза, выплёскивается через край, оставляя на полу мокрые следы. Из двадцать второй комнаты сквозь неплотную фанеру двери пробивается дребезжащий гитарный перебор и обрывки чужого, давно не слышанного смеха — там допивают вчерашнее, кто-то пытается петь, но срывается на крик, на ругань, на хриплый, надрывный смех, который не имеет ничего общего с весельем. Пахнет подгоревшим луком, дешёвым табачным дымом, который въелся в обои и, кажется, в самих людей, и застарелым известковым налетом из душевых, который сочится из труб и оседает на стенах, создавая тот самый запах, который невозможно выветрить. Запахи, которые въедаются в стены быстрее, чем люди въезжают в эти комнаты. Они оседают в одежде, в волосах, в лёгких — их невозможно вывести, невозможно забыть, невозможно спутать с чем-то другим. Это запах этого общежития, этого города, этой жизни.

В угловой пятнадцатой комнате шторы задёрнуты так

плотно, что не видно даже контура окна. Будто здесь бояться не просто света, а самого наступления дня, самого его факта. Тонкая, дешёвая ткань, которую когда-то купили в местном универмаге, кое-где выцвела и протерлась настолько, что сквозь неё просвечивает уличный фонарь, превращая вечер в бесконечные липкие сумерки, в которых время теряет форму, растворяется, перестаёт иметь значение. Рука медленно выползает из-под одеяла. Пальцы — бледные, почти прозрачные, с тёмными полумесяцами под ногтями, которые уже давно не видели солнечного света, — нащупывают под подушкой потёртую тетрадь в коричневой корочке. Когда-то она была новой, купленной за несколько рублей в канцелярском отделе. Теперь обложка покрыта кофейными разводами, углы замяты и загнуты, а края страниц пожелтели от времени, влажности, от дыхания, которое оседало на них по ночам. Рядом — огрызок простого карандаша. Грифель заточен криво, сколот с одной стороны, почти стёрт до основания. Пальцы сжимают его с той неуклюжей бережностью, с какой держат хрупкую вещь, которая ещё может пригодиться. Которая ещё не потеряла смысл. Которая осталась единственным доказательством того, что здесь вообще кто-то есть.

Человек не садится. По-прежнему лёжа на спине, приподнимает только голову, чтобы видеть страницу. Одеяло натянуто до самого подбородка, почти до глаз — даже в этом по-

ложении он не хочет открываться миру, не хочет показывать своё лицо, даже если в комнате никого нет. Тетрадь лежит на груди — неровно, она скользит, сползает к животу, и приходится придерживать её свободной рукой, чтобы не упала на пол. В комнате почти темно, но света из коридора, который пробивается под дверью тонкой жёлтой полосой, достаточно, чтобы разглядеть неровные строчки, испещряющие листы. Некоторые слова выдавлены так сильно, что карандаш прорывал бумагу — на обратной стороне остались выпуклые следы, которые можно прочесть пальцами, как шрифт Брайля. Другие — стёрты, перечёркнуты так яростно, что бумага порвалась. Будто их хотели отменить, заставить забыть, вычеркнуть из существования навсегда. Человек не читает написанное раньше. Не перечитывает. Не вспоминает. Просто находит пустое место, последнюю чистую строчку на исписанной странице, и подносит карандаш к листу. Грифель касается бумаги, оставляя первую серую полосу.

«Карандаш крошится. С каждым словом он становится меньше, оставляет на пальцах серую пыль, которая въедается в кожу и не смывается водой. Приходится писать тупым, сломанным грифелем, который оставляет жирные, неровные серые полосы на дешёвой бумаге, впитывающей свинец, как губка. Слова расплываются, теряют чёткость, становятся такими же размытыми, как всё вокруг меня .

За стеной спорят, сколько минут варить макароны. Три голоса — два мужских, один женский. Все интонации уже знакомы — кто кричит, кто уговаривает, кто смеётся. Хотя ни разу не довелось заглянуть в лица этих людей, они существуют только как звуки, как обрывки чужих жизней, которые просачиваются сквозь щели, сквозь неплотно пригнанные доски, сквозь тонкую фанеру двери. Собственный голос кажется чужим. Таким далёким, что связки, наверное, сорвутся и захрипят, если попробовать сказать «привет» или что-то ещё. Если попробовать сказать что-то, что имеет значение. Что-то большее, чем просто звук.

По ночам простыня под спиной снова становится ледяной и мокрой. Опять. Каждую ночь одно и то же. Тяжёлое, стылое, липкое ощущение, к которому привыкаешь быстрее, чем кажется возможным. Быстрее, чем хотелось бы. Сил не хватает даже на то, чтобы скинуть одеяло и сесть, чтобы перестелить бельё или просто перевернуться на другой бок, чтобы найти сухое место. Проще лежать так, неподвижно, чувствуя, как холодная ткань медленно согревается от тепла кожи, а потом снова остывает, когда замирает дыхание. Тело живёт само по себе, как механизм, который забыли выключить. Ему что-то нужно, оно чего-то требует — пищи, тепла, движения. Но воля отказывается откликаться на эти сигналы. Пусть гудит. Пусть ноет. Это единственное ощущение, которое напоминает,

что внутри ещё теплится жизнь. Жизнь, которая не хочет жить, но продолжает существовать по инерции.»

На обшарпанном подоконнике, покрытом слоем серой пыли и засохших капель от протекающей рамы, лежит буханка хлеба. Верхняя корочка покрылась зеленоватым, бархатистым налетом плесени, которая уже расползлась по краям, проникла в мякиш и делает своё дело — превращает хлеб обратно в землю. Хлеб лежит здесь уже давно. Может, неделю. Может, больше. Человек не помнит, когда принёс его и зачем. Наверное, когда был в магазине в последний раз, когда вышел из комнаты за чем-то, что казалось важным. Теперь хлеб лежит там, покрываясь зеленью, и никто не собирается его есть. На полу у кровати валяется старый телефон. Экран треснул пополам белой паутиной, которая разбегается от нижнего угла к центру. Батарея вывалилась рядом после того, как кто-то уронил его на пол — или он сам упал, или просто соскользнул с тумбочки, — и теперь она лежит на облупившемся линолеуме, припорошенная пылью и крошками от хлеба. Какой смысл чинить мобильник, если давно никто не звонит? Если некому звонить. Если даже не помнишь, кому мог бы позвонить, если бы захотел. Если бы был тот, кто ответил. Если бы были те, кому он нужен.

На тумбочке — ни одной личной вещи. Ни ключей, ни документов, ни кружки. Ни фотографий, ни записок, ни ма-

леньких безделушек, которые обычно собираются за жизнь. Пустой бесполезный прямоугольник ДСП, покрытый коричневой плёнкой, на которой когда-то чужая жизнь оставила след — тёмный круг от горячей кастрюли, въевшийся в поверхность. Теперь здесь ничего нет. Только пыль, которая оседает за день, и пустота, которая оседает внутри. Комната медленно наполняется синими вечерними тенями. Они выползают из углов, тянутся к кровати, обволакивают неподвижную фигуру, прикасаются к лицу холодными, невесомыми пальцами. Дневные звуки затихают один за другим, уступая место глухому, ровному гулу шин с проспекта где-то далеко внизу. Этот гул не прекращается никогда — он идёт круглосуточно, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году. Он стал ритмом сердца этого грязного города, его дыханием, его пульсом. Он единственное, что не меняется, единственное, на что можно положиться.

Человек пытается закрыть глаза, глубже втягивая голову в одеяло, прячась от этого гула, от этих теней, от самого факта собственного существования. Он готов раствориться в наступающей темноте. Стать ею. Исчезнуть между одним ударом шин по асфальту и следующим. Между двумя вдохами, которые уже не имеют значения. Между тем, кем он был, и тем, кем он стал.

Неожиданно в дверь стучат. Три коротких, хозяйских уда-

ра — твёрдых и нетерпеливых, как будто комендантша не собирается ждать ответа — подбивают тонкую деревянную раму, заставляя её вибрировать и дребезжать в гнёздах. Фигура под одеялом замирает. Вдох останавливается где-то посередине горла, воздух превращается в колючий комок, который не может пройти ни вверх, ни вниз. Шаги за дверью тяжёлые, шуршащие — женщина в войлочных тапках, которые стёрлись на подошве и теперь шуршат по линолеуму, делает вечерний обход. Она проходит по коридору каждую пятницу, каждую неделю, каждый месяц — проверяет, кто есть, кто жив, кто должен деньги за комнату. Наконец, ручка по-хозяйски дёргается вверх-вниз, с металлическим лязгом упираясь в тугую задвижку, которая держится на честном слове и одном ржавом шурупе.

— Пятнадцатая! — раздаётся хриплый женский голос, усиленный сигаретами и годами крика в пустых коридорах, под сводами которых эхо повторяет её слова. — Есть кто живой? Проводку проверять придут в понедельник. Открой дверь-то!

За дверью шуршат бумагами, тяжело вздыхают — то ли от усталости, то ли от безнадёжности, то ли от того, что никто никогда не открывает, и она уже знает этот ответ. Шаги медленно удаляются дальше по коридору, растворяясь в пьяных криках из двадцать второй, которые становятся всё громче,

всё навязчивее, всё более истеричными. Можно снова дышать. Можно выпустить воздух, который казался последним. И снова вдохнуть — этот же самый, спёртый, тяжёлый воздух, который никуда не делся.

«Комендантша думает, что за дверью кто-то есть. Ей нужен ответ, подпись, деньги за комнату. Но если не подавать знаков, люди уходят. Всегда уходят. Если не цепляться за них взглядом, не хватать за рукав, не шептать что-то важное и отчаянное, если не давать им понять, что ты существуешь, они просто перестают замечать тебя. Исчезают, как будто тебя и не было никогда.

Раньше казалось, что самое страшное — это когда телу и душе больно. Когда внутри что-то рвётся, горит, кричит, требует выхода, когда невозможно усидеть на месте, когда мысли пульсируют в висках. Теперь понятно: страшнее, когда не происходит вообще ничего. Когда мир застывает. Окно, штора, угол шкафа. Вечером синий цвет неба за окном сменяется чёрным, потом на рассвете серая полоса на полу становится чуть светлее, а потом снова — вечер, снова — синий, снова — чёрный. Вот и вся хроника. Вот и вся жизнь.

Голова этого бесполезного тела пытается забыть всё, что когда-либо происходило. Стереть. Закопать. Вычеркнуть из памяти, как вычёркивают строчки в этой тетради.

ди. Чтобы не осталось ничего, что могло бы напомнить о том, кем он был когда-то. Кем он мог бы стать. Что он потерял.

Текст на этих вырванных листах — просто привычка пальцев держать карандаш. Руки помнят, как выводить буквы, хотя уже стерлось понимание, зачем это делается. Для кого. Для чего. Исчез смысл — осталось только движение. Только звук грифеля по бумаге, только шорох страниц, только этот хрупкий, почти невесомый след.

Может быть, просто чтобы в этой комнате остался хоть какой-то звук, кроме дыхания. Чтобы тишина не была абсолютной. Чтобы доказательство того, что здесь есть кто-то живой, сохранилось на бумаге — даже если он сам в это не верит.»

ГЛАВА 2. ПОНЕДЕЛЬНИК

Тело поднялось само. Не потому, что захотело, не потому, что услышало звук или почувствовало голод. Просто — поднялось. Как будто внутри работал старый, забытый механизм, который включался по расписанию, даже когда хозяин давно перестал его заводить. В комнате было темно — шторы висели плотно, не пропуская даже намёка на серый рассвет. Только узкая щель под дверью светилась жёлтым, разливая по полу тонкую, дрожащую полосу: там, в коридоре, горела дежурная лампа, которая никогда не выключалась. Кто-то прошлёпал мимо — тяжёлые, шаркающие шаги, которые волочились по линолеуму, — и звук постепенно затих в конце коридора, растворился в утренней тишине.

Выходные провалились в чёрную яму. Сознание не задерживало ни одного воспоминания — только темнота, редкий гул шин за окном, который доносился откуда-то издалека, да тяжелое, неподвижное тело на пружинной сетке, которая впивалась в спину, оставляя красные следы на коже. Казалось, глаза вообще не открывались с пятницы. Может, и не открывались. Может, он просто лежал, провалившись в забытьё, и ждал, когда наступит понедельник. Или не ждал. Просто существовал.

Свитер нашёлся на спинке стула — тот же самый, что в пятницу. Тот же цвет, тот же запах, та же дыра под мышкой, которая разошлась ещё месяц назад, но никто не зашил её. Штаны лежали рядом, на полу, скомканные, с пятнами, которые уже не отстирать. Носки — один серый, один чёрный, разных пар, но это не имело значения. Ничего не имело значения. Фигура села на кровати, и пружины скрипнули под тяжестью — жалобно, надрывно, будто они держались из последних сил. Голова была тяжёлой, как будто её набили влажной ватой, которая распухала внутри, давила на глаза, на затылок. Во рту — привкус металла и спячки. Тот самый привкус, который появляется, когда спишь слишком долго или слишком мало.

Пол был ледяным — старый, вздувшийся линолеум, который пузырился возле батареи, отслаивался от пола, хрустел под ногами. Тапки так и остались стоять у кровати, раскорячившись в разные стороны, как будто их бросили в спешке. Ноги не почувствовали холода. Или почувствовали, но это не имело значения. Как и всё остальное.

В коридоре горели старые лампы дневного света, которые гудели с противным ультразвуком — тонюсеньким, почти неслышным, но от него начинали ныть зубы, и появлялась тупая головная боль, которая не проходила до самого вечера. Стены были выкрашены в бледно-зелёный — тот самый

казённый цвет, который выбирают для больниц, школ и общежитий, чтобы не раздражать, но и не радовать. Местами краска облупилась, обнажив серую штукатурку, местами на стенах виднелись тёмные пятна от сырости, которые расплзались, как старые синяки. Из двадцать второй комнаты пахло перегаром и жареной картошкой — запах, который смешивался с табачным дымом и оседал на стенах, въедался в обои, в одежду, в волосы. Там кто-то храпел — так громко, что дребезжало стекло в тонкой деревянной раме, и казалось, что сейчас оно выпадет и разобьётся.

В туалете не работала горячая вода — она не работала здесь уже несколько лет, и никто не собирался её чинить. Ледяная струя ударила в ладони, заставив пальцы сжаться, покраснеть, стать неуклюжими и непослушными. Пахло сыростью, хлоркой и чем-то кислым, что въелось в кафельную плитку, которая кое-где отвалилась целыми кусками. В мутное зеркало, покрытое слоем известкового налёта, взгляд не поднялся. Не было нужды смотреть на отражение, которого внутри не было.

На улице рассвет только начинался — серый, тяжёлый, больной. Небо над городом нависало так низко, будто его придавили бетонной плитой, и оно вот-вот рухнет на головы прохожих. Фонари ещё горели, но их жёлтый свет казался беспомощным против этой утренней мути — он не рассеи-

вал тьму, а только подчёркивал её, делал более плотной, более осязаемой. Ветер был холодным, промозглым, с мелкими колючими частицами, которые били в лицо, заставляя щуриться. То ли дождь, то ли первый снег, то ли просто грязь, поднятая с асфальта шинами редких машин, которые изредка проезжали мимо, оставляя за собой шлейф выхлопных газов.

Ноги сами знали дорогу. Тело шло на автопилоте — мимо разбитых бордюров, которые никто не ремонтировал, мимо гаражей с осыпающейся краской и ржавыми воротами, мимо редких прохожих, которые тоже тащились в сторону проходных, сгорбленные, сонные, с пустыми глазами. Никто ни на кого не смотрел. Все были заняты своим — каждый шёл по своей серой, однообразной дороге, которая вела в никуда.

Проходная промзоны пахла мазутом, ржавым железом и кошачьей мочой — этот запах смешивался с запахом сырости и выхлопных газов, создавая ту самую атмосферу, которая въедалась в память навсегда. Люди текли внутрь — сгорбленные, молчаливые фигуры, которые не обменивались ни взглядами, ни словами. Охранник даже не поднял головы, когда пластиковая карточка с нечитаемой фотографией легла на сканер — он просто махнул рукой, пропуская очередную серую тень. Территория промзоны восхищала своим уродством — цеха, склады, ангары с облупившейся

краской, ржавые трубы, из которых валил пар, белый на сером фоне. Земля была утрамбована в бетон, кое-где пробитый чёрными лужами, которые отражали серое небо. Пахло химией, горелой проводкой и чем-то сладковатым — то ли утечка ацетона, то ли просто запах умирающего завода, который продолжал работать по инерции.

Сортировка. Цех номер четырнадцать. Длинный, с высокими закопчёнными окнами, сквозь которые почти не проникал свет — только серые полосы, которые ложились на бетонный пол и дрожали от вибрации конвейера. Внутри горели лампы дневного света — белые, мертвенные, они высасывали жизнь из всего, на что падали, делали лица бледными, глаза пустыми, тени чёткими. Конвейер тянулся через весь цех — широкая чёрная резиновая лента, на которую с глухим, тяжёлым грохотом сыпался мусор. Пластик, стекло, бумага, органика, металлолом. Всё это смешивалось в вонючую, липкую массу, которую предварительно пропустили через дробилку, но недостаточно мелко — куски были разного размера, и их нужно было сортировать вручную.

Фигура в серой робе встала к ленте, натянула перчатки — прорезиненные, с обрезанными кончиками на пальцах, чтобы было удобнее хватать. Рядом такие же молчаливые тени — мужчины и женщины, одинаково уставшие от этого бесконечного конвейера, одинаково сторбленные, одинаково се-

рые. Никто не разговаривал. Слышался только гул конвейера, лязг металлических баков, в которые падали отходы, да редкий, надрывный кашель, который разрывал тишину.

Руки работали сами. Схватить — кинуть в синий контейнер. Схватить — кинуть в жёлтый. Схватить — в чёрный. Движения были отточенными, механическими, без единой мысли. Пальцы болели уже через полчаса — мелкие порезы от осколков стекла, заусенцы от пластика, пот, который разъедал резину перчаток и заставлял кожу гореть. Спина ныла от того, что приходилось наклоняться, чтобы доставать предметы, которые падали мимо ленты. Шея затекла, и каждое движение головой отдавалось тупой, ноющей болью.

Потом конвейер остановился с противным скрежетом, который разорвал монотонный гул цеха. Где-то в конце ленты раздался грубый, злой крик — кто-то ругался на ленту, которая зажевалась и теперь требовала ремонта. Объявили перерыв. Люди потянулись к выходу, но без спешки — они знали, что спешить некуда.

Столовая находилась в соседнем корпусе — длинное помещение с пластиковыми столами, железными подносами и запахом компота и дешёвой тушёнки, который смешивался с запахом дешёвого чая. Люди толкались у раздачи, ругались, пытались пролезть вперёд, но очередь двигалась медленно, с

рывками, и никто не хотел уступить.

А потом началась толкотня. Какой-то парень в наушниках попытался пролезть без очереди, и пожилой мужик заорал на него. Парень огрызнулся, ответил грубостью, и очередь замерла, превратившись в кучу раздражённых, потных тел, которые топтались на месте и ругались сквозь зубы.

И вдруг взгляд человека упал на Щуплого. Почему такое прозвище? Никто не знал. На этой богодельне имени парня никто не знал — его называли так, потому что он был худым, маленьким, почти невесомым, будто его можно было сдуть ветром. Хотя, на вид, он действительно выглядел нездорово: впалые скулы, острые ключицы, которые выпирали сквозь рубу, худое, маленькое, совершенно несуразное тельце, в сравнении с его большой головой. И глаза. Голубые, настолько большие и светлые, что ненароком задумываешься — не голодный ли котёнок стоит перед тобой, не бездомное ли существо, которое потеряло свой дом и теперь ищет хоть каплю тепла?

Щуплый стоял позади всех, мял в руках грязный поднос, опустив голову так низко, что подбородок касался груди. Роба висела на нём мешком, рукава были длиннее рук, штаны подвернуты в несколько раз. Он не пытался пролезть вперёд, не толкался, не ругался. Просто стоял и ждал своей очереди,

хотя знал, что, когда она дойдёт, еды уже не останется.

Шаг назад. Кивок вперёд.

Щуплый не понял сначала. Потом его лицо исказилось удивлением — дешёвым, почти детским. Он посмотрел на человека, потом на освободившееся место, потом снова на человека. И скользнул к раздаче — быстро, как мышь, которая боится, что её поймают и вышвырнут назад.

— Спасибо, — прошептал он едва слышно, почти не разжимая губ.

Ответа не последовало. Фигура снова стояла в очереди, глядя в никуда. Но внутри что-то царапнуло. Далёкое, забытое, будто кто-то чиркнул спичкой в кромешной тьме — на секунду, и погасил. И от этого света остался только слабый, почти незаметный след, который быстро исчез, растворился в сером тумане.

Зачем это сделано?

Мысль пришла и ушла, не найдя ответа.

Остаток смены прошёл как в тумане. Щуплый оказался на соседнем посту — их разделяла только узкая дорожка между

конвейерами. Несколько раз он оборачивался с то ли интересом, то ли сожалением, но человек не отвечал на эти взгляды. Делал вид, что не замечает.

Они не заговорили.

Вечером ноги гудели, пальцы были стёрты в кровь, спина не разгибалась. Тело рухнуло на кровать, даже не сняв ботинок. Потолок смотрел сверху — серый, в трещинах, с тёмным пятном от протекавшей когда-то крыши. Рука сама нашарила под подушкой тетрадь, карандаш. Пальцы дрожали от усталости, но они помнили, как выводить буквы.

«Этот омерзительный конвейер сожрал ещё один день. Пластик, стекло, пластик, стекло. Пальцы не разгибаются, спина ноет, и я чувствую эту боль так, будто она единственное, что осталось настоящим. Но это даже хорошо — лучше, чем ничего. Лучше, чем пустота.»

В столовой я уступил место Щуплому. Не знаю, зачем. Странное имя... Никто не знает, как его зовут на самом деле. Может, это и есть его имя. Может, он просто так назвал себя, потому что настоящего не помнит.

Он сказал мне «спасибо». Давно никто со мной не говорил. Слова, которые не имели значения, но заставили что-

то внутри дрогнуть.

Я пытаюсь понять причину этого поступка. Ведь никаких жалостливых чувств к Щуплому я не испытываю. Он мне никто. Он просто чужой человек, который стоял в очереди и смотрел на всех голодными глазами.

Когда-то всё было иначе. Голова этого тела отказывается вспоминать, как именно — но явно не так унижительно, как сейчас. Не такой запах. Не такая боль. Не такая пустота.

Щуплый напомнил что-то. Или кого-то. Я не могу понять, что именно. Но этот образ — худой, с голубыми глазами — застрял в голове и не уходит.»

Тетрадь закрылась и ушла под подушку. Свет погас — просто нажатие на выключатель, который висел на проводе у изголовья. Комната погрузилась в темноту. За окном всё так же шуршали шины — ровно, монотонно, бесконечно. Город не спал. Он жил своей убогой, серой жизнью, которая не менялась никогда.

Глаза закрылись. До вторника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.